Д.А. Черноглазов

LAUS EPISTULAE ACCEPTAE: ОБ ЭВОЛЮЦИИ ВИЗАНТИЙСКОГО ЭПИСТОЛЯРНОГО КОМПЛИМЕНТА

В византийской эпистолографии, как и в других жанрах средневековой греческой литературы, существовала сложная система правил, определявших реакцию автора в том или ином случае – та система, которую Д.С. Лихачев назвал "литературным этикетом"[1]. Чтобы правильно интерпретировать любое отдельно взятое письмо, необходимо этот этикет знать. Когда мы читаем византийское послание, мы неизбежно приходим к вопросу: что в нем отражает индивидуальную позицию автора, а что обусловлено жанровым каноном? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить правила эпистолярной игры и попытаться взглянуть на изучаемое письмо глазами его современника.

Между тем эпистолярный этикет византийцев изучен мало. Конечно, существуют монографии Х. Коскенниеми[2]и К. Треде[3], но они посвящены позднеантичной эпистолографии и затрагивают лишь первые столетия византийского времени. Существует работа Г. Карлссона о византийском эпистолярном церемониале[4], но в ней речь идет преимущественно о письмах X в. В последние десятилетия интерес к византийским письмам заметно возрос[5], и появились новые интересные работы об эпистолярном этикете – статьи А.Р. Литтлвуда[6] и М. Маллетт[7]. Эти исследования важны, в частности, тем, что в них была сформулирована важная проблема – проблема эволюции жанровых канонов письма. Прежде считалось, что эти каноны оставались неизменными с IV по XV в. Так, например, Г. Карлссон, анализируя эпистолярный этикет X в., находит те же клише в письмах других эпох – и тем самым подчеркивает преемственность традиции, не пытаясь разглядеть ее трансформацию.

Как изучать эволюцию эпистолярного этикета? Метод здесь возможен один – сопоставление писем, написанных разными авторами и в разные эпохи, но в сходной эпистолярной ситуации. Для каждой распространенной ситуации существовал свой этикет, традиционные мотивы и клише, восхо-

---

[1] *Лихачев Д.С.* Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 80–102.

[2] *Koskenniemi H.* Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n. Chr. Helsinki, 1956.

[3] *Thraede K.* Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik. München, 1970.

[4] *Karlsson G.* Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine. Uppsala, 1959.

[5] О новых тенденциях в изучении византийской эпистолографии см.: *Hatlie P.* Redeeming Byzantine Epistolography // Byzantine and Modern Greek Studies. 1996. Vol. 20. P. 213–248.

[6] *Littlewood A.R.* The Byzantine Letter of Consolation in the Macedonian and Comnenian Periods // DOP. 1999. Vol. 53. P. 19–41.

[7] *Mullett M.* Originality in the Byzantine Letter: the Case of Exile // Originality in Byzantine Literature, Art and Music. A Collection of Essays / Ed. A.R. Littlewood. Oxford, 1995. (Oxbow Monograph, 50). P. 39–58.

дившие, как правило, к поздней античности. Такое сравнение позволит проследить, как одни мотивы постепенно отмирают, иные зарождаются и растут, третьи трансформируются, отвечая эстетическим запросам времени.

Задача данной статьи – по возможности реконструировать этикетные нормы, сложившиеся для одной и той же эпистолярной ситуации. Была выбрана одна из самых распространенных ситуаций – реакция эпистолографа на полученное письмо. Если молчание корреспондента становилось поводом для пространных жалоб и обвинений, то получение долгожданного письма вызывало восторженную похвалу, выражение бурной этикетной радости – laus epistulae acceptae[8]. Мы сопоставим послания, написанные в этих обстоятельствах за три с половиной столетия (с середины IX по начало XIII в. – от патриарха Фотия до Михаила Хониата), и выясним, как было принято хвалить полученное письмо и как видоизменялись этикетные формы эпистолярного комплимента.

Какие похвалы могло заслужить письмо в эпоху "Македонского ренессанса"? Множество писем IX–X вв. посвящено этой теме. Например, laus epistulae acceptae звучит в 11 письмах Николая Мистика, 9 письмах Симеона Магистра, 4 письмах Льва Синадского. Всего мы обнаружили 48 примеров[9] – достаточно обширный материал, чтобы судить об этикете, сложившемся в ту эпоху для нашей ситуации.

Письмо, пришедшее от друга, приносит радость или чаще всего утешение. Мотив "письмо – утешение", почерпнутый из ранневизантийской эпистолографии, встречается у всех авторов X в.[10] "Упоение" долгожданным посланием нередко передается с помощью хорошо известных этикетных сравнений. Присланное письмо – как влага, орошающая иссохшую почву[11]. Оно, будто лекарство, исцеляет страждущую душу и заставляет забыть о горестях[12]. Бурная радость, охватившая эпистолографа, противопоставляется его прежнему состоянию. Так, Феодор Никейский "приходил в уныние" от длительной разлуки с адресатом (Darr. VII. Ep. 37.11), анонимный автор "жаждал" и страдал от "засухи", но не утрачивал надежду (Darr. IX. Ep. 5.1–5). Когда его друг безмолвствовал, Симеон Логофет раздумывал о причинах

---

[8] Мы цитируем название одного из разделов книги Г. Карлссона. В этом разделе (*Karlsson G.* Idéologie... P. 79–111) изложены наблюдения ученого о формах эпистолярного комплимента в письмах X в.

[9] Photii patriarchae Constantinopolitani epistulae et amphilochia / Rec. B. Laourdas, L.G. Westerink. Vol. I–III. Leipzig, 1983–1985 (Bibliotheca Teubneriana). Ep. 271; Nicolai I Constantinopolitani patriarchae epistolae / Ed. R.J.H. Jenkins, L.G. Westerink. Dumbarton Oaks, 1973. Ep. 50, 57, 104, 111, 120, 126, 131, 172, 174, 178, 182. (Далее: Nic. Myst.); *Nicétas Magistros*. Lettres d'un exilé (928–946) / Ed. L.G. Westerink. P., 1973. Ep. 6, 18. (Далее: Nic. Mag.); Anonymi professoris epistulae / Rec. A. Markopoulos. Berolini; Novi Eboraci, 2000. Ep. 45, 64, 106. (Далее: Anon. Prof.); Épistoliers byzantins du X^e^ siècle / Ed. J. Darrouzès. P., 1960. II. Ep. 1, 15, 16, 51, 85, 89, 91, 92, 95, 110; V. Ep. 4, 5, 16; VII. Ep. 37; VIII. Ep. 2, 4, 6, 26, 31; IX. Ep. 5, 6, 10, 20, 31. (Далее: Darr.); *Lampros S.P.* Ἐπιστολαὶ ἐκ τοῦ Βιενναίου κώδικος phil. gr. 342 // Νέος Ἑλληνομνήμων. 1925. T. 19. S. 269–296; 1926. T. 20. S. 144–150, 152–157. Ep. 2, 56, 59. (Далее: Theod. Cyz.); Leonis Synadorum metropolitae et syncelli epistolae / Recensuit, anglice vertit et commentario instruxit M.P. Vinson. Dumbarton Oaks, 1985. Ep. 3, 26, 33, 52. (Далее: Leo Syn.).

[10] Например: Nic. Myst. Ep. 57, 104, 126, 131; Darr. II. Ep. 15, 16; VIII. 31; IX. Ep. 5, 6, 10, 20, 31; Theod. Cyz. Ep. 2, 59.

[11] Darr. VIII. Ep. 11.1–6; IX. Ep. 35.3–12; Nic. Mag. Ep. 18.5–8; Leo Syn. Ep. 3.2–3.

[12] Darr. II. Ep. 89.18–19; IX. Ep. 5.14–15; Theod. Cyz. Ep. 2.36–37; 60.1–3.

молчания, волновался и расспрашивал всех, не слышал ли кто о делах его корреспондента (Darr. II. Ep. 89.2–11). В другом письме Симеон признается, что "ревновал" к другим корреспондентам, "обильно" получающим письма "желанного" друга (Darr. II. Ep. 95.2–7). Все это легко узнаваемые общие места, воспринятые у авторов IV столетия – с тем только отличием, что в эпоху "Македонского ренессанса" эти клише играют куда более заметную роль, чем прежде. Laus epistulae acceptae становится порой единственной темой для обширного послания.

Иногда пространно описывается процесс разворачивания и чтения драгоценного письма: "Когда пришло письмо, – пишет Симеон Логофет, – я взял его в руки и оценил его длину, подобно тому как жаждущие, прежде чем пить, оценивают величину чаши. Затем же я начал читать, медленно, задерживаясь на каждом слоге, растягивая удовольствие – я хотел, чтобы источник моего наслаждения не иссяк прежде, чем наступит насыщение" (Darr. II. Ep. 89.13–17). "Когда твое письмо оказалось у меня в руках, – пишет Никифор Уран, – я от наслаждения долго не мог прийти в себя" (Darr. V. Ep. 5.7–8).

Итак, византийцы охотно описывают радость и утешение от полученного письма. Чем же оно их так утешает и радует? Нередко причина в том, что письмо возвещает о здоровье или благополучии друга[13], однако добрые вести – не единственный источник утешения. Эпистолограф жаждет увидеть далекого друга, и послание радует тем, что заключает в себе "образ" его души. Так, неизвестный автор пишет: "Мы в унынии, когда мы лишены вас, не пребываем вместе с твоей Честностью и не приобщены к ее нраву и облику... Получив же письмо, мы восприняли его как изображение и отпечаток твоей наружности и добродетели и, можно сказать, слегка причастились вожделенной любви" (Darr. IX. Ep. 19.2–7). Этот же мотив звучит и в других письмах той эпохи: письмо являет собой отображение (εἰκών, τύπος, χαρακτήρ) души его создателя, его нрава, добродетелей или даже наружности[14].

Письмо не только являет "образ души", но и создает иллюзию присутствия отсутствующего друга. "Ты в такой мере явил в письме нрав, доброту и кротость, – пишет Симеон Логофет, – ... что мне тотчас же показалось, будто я вижу (ὁρᾶν ἐδόκει): мой Никита стоит, как есть, [предо мною] и ведет медовую и сладкую речь" (Darr. II. Ep. 85.2–4). "Я постоянно храню в душе твой образ и вспоминаю твою приятную беседу, – признается Лев Синадский, – и мне показалось, что посредством твоего письма я увидел (ἔδοξα... ἰδεῖν) тебя самого, обнял, говорил с тобой и внимал твой сладчайший голос" (Leo Syn. Ep. 52.4–8). О подобных "видениях" говорится во многих письмах X в., и повсеместно вводится формула "показалось, что" с глаголом δοκέω[15]. Получив ценное послание, византиец "целует" и "обнимает" его, будто встречает самого друга[16].

Итак, мотив "письмо как образ души", хорошо известный уже в поздней античности, становится общим местом и в посланиях X в[17]. Созерцая в пись-

---

[13] Nic. Myst. Ep. 57.4–6; 182.3–7; Darr. II. Ep. 16.5–7; V. Ep. 16.1–2; IX. Ep. 19.1; 20.2; Anon. Prof. Ep. 45.2.

[14] Darr. II. Ep. 85.1–2; 89.19–20; 91.4–6; 92.1–2; Anon. Prof. Ep. 64.1–3; Leo Syn. Ep. 52.2–4.

[15] Darr. II. Ep. 89.33–35; 92.4–5; V. Ep. 5.4–5; VII. Ep. 37.3; IX. Ep. 20.3; 31. 6; 33.7–8.

[16] Darr. VIII. Ep. 2.33–35; Theod. Cyz. Ep. 2.24–27; 57.5.

[17] О мотиве "письмо – образ души" см. также: *Karlsson G.* Idéologie... P. 94–99.

ме душу друга, эпистолограф восхищается добродетелями, которые он в нем "разглядел". Так, анонимный учитель пишет: "Получив твое златое письмо, я узнал из него о благочестии твоего нрава, совершенстве естества и чистоте твоей страсти к нам" (Anon. Prof. Ep. 64.1–3). Взгляд на письмо, как на "образ души", – повод похвалить достоинства написавшего. В эпистолографии X в. энкомия зачастую удостаивается не письмо, а его автор.

Впрочем, подлинное утешение может принести только личная встреча, а присутствие друга в письме – всего лишь иллюзия (φαντασία, αἴνιγμα). Увидев призрачный "образ" друга, эпистолограф с еще большим рвением устремляется душой к "прототипу"[18]. Письмо вызывает желание увидеть его создателя лично. С одной стороны, оно приносит утешение, "угашает пламя страсти", а с другой – "разжигает" его, это не только живительная влага, но и "масло", подливаемое в огонь[19]. Когда Симеон Логофет читает письмо, он испытывает наслаждение, но в то же время "издает стоны" (Darr. II. Ep. 89.18), потому что прототип изображения остается для него недосягаем.

Таким образом, письмо оказывается ценным уже потому, что оно отражает душу друга и утешает иллюзорной беседой. "Замечают" ли авторы X в. достоинства самого письма? Оценивают ли они в нем, например, глубину мысли или красоту слога? Риторически обработанные послания того времени явно создавались как образцы красноречия – эпистолографы, конечно, ожидали, что читатели оценят их τέχνη. Ответ может показаться неожиданным: о красоте полученного письма авторы X в. отзываются не часто, а если и упоминают о ней, то, как правило, мимоходом и в самых общих выражениях. Так, Никифор Уран восхищается письмом по двум причинам: во-первых, оно отражает нрав друга и создает иллюзию присутствия и беседы, а во-вторых, "источает мед наслаждения благодаря словесной прелести (χάριτος) и сладости" – лаконичная и предельно абстрактная похвала (Darr. V. Ep. 5.2–4). О "меде" говорится и в других письмах того времени[20]. Помимо χάρις (χάριτες)[21] изредка появляются "музы" (Nic. Mag. Ep. 6.13) и "сирены": в письме слышится "пение сирен", которое "завораживает" анонимного автора, ибо он не заклеил себе уши воском (Darr. IX. Ep. 31.7–9).

Тем более редко "умственная" или "словесная" красота письма удостаивается сколько-нибудь пространной похвалы. Так, Феодор Кизикский вводит два развернутых сравнения: с цветущим лугом и – не столь обычное – с распущенным хвостом павлина. Однако на лугу растут лишь "цветы мудрости", о "словесном убранстве" нет ни слова (Theod. Cyz. Ep. 2.1–23). В письме Никиты Магистра, напротив, весь "энкомий" посвящен красноречию. Читая письмо, эпистолограф очутился на лугу, но его усладили не птицы (следует перечень их наименований), а хор муз, пленивший его фигурами (σχήμασι), ритмами (ῥυθμοῖς) и сочетанием слов (συνθήκαις) (Nic. Mag. Ep. 6.13). Все это – термины античной риторической теории, известные любому образованному византийцу. Но то, что эпистолограф применяет их для оценки по-

[18] Darr. II. Ep. 15.6–11; 85.7–10; 89.20–32; IX. Ep. 6.62–63; 31.19–22; 44.10–13; Leo Syn. Ep. 26.14–16.
[19] Darr. VIII. Ep. 4.5–8; 11.5–8.
[20] Darr. V. Ep. 16.1; IX. Ep. 33.1.
[21] Nic. Mag. Ep. 6.6–7; Darr. II. Ep. 92.5 sq.; 95.8; IX. Ep. 33.1; 44.3; Leo Syn. Ep. 33.5.

лученного письма, не довольствуясь абстрактным "медом" и "толпой харит", для X в. не типично – помимо этого письма можно найти лишь один сходный пример: Симеон Логофет видит в письме "цветы [риторического] искусства", например, "блистательность слов" (ὀνομάτων... φαιδρότης), "гармонию в сочетании [слов]" (συνθέσεως ἁρμονία) и т.д. (Darr. II. Ep. 91.15–20). Есть также один пример, в котором наряду с красноречием отмечается внешняя красота письма: аноним восхищается "равномерностью и стройностью букв", по его мнению, именно это побуждает читателя "наслаждаться красноречием" (Darr. IX. Ep. 19. 7–9).

Таких похвал могло удостоиться письмо в эпоху "Македонского ренессанса". С конца IX по начало XI в. эпистолярный церемониал, судя по всему, почти не менялся. Заметные новшества появляются лишь в середине XI столетия в творчестве двух выдающихся писателей – Иоанна Мавропода и Михаила Пселла. Уже поверхностное чтение их писем позволяет заключить, что эти авторы отнюдь не всегда следуют канонам эпистолярного жанра, а весьма часто отходят от традиции – многие их послания по сравнению с письмами X в. удивляют новизной и раскованностью. Как же оба писателя изъявляют радость по случаю получения дружеского письма?

Похвалы Иоанна Мавропода, как правило, традиционны – из пяти писем, посвященных этой теме, четыре строго соответствуют этикету X в. Письмо трактуется как лекарство и утешение (Maur. Ep. 59.1–4), "мелкий дождь на зелень" и "ливень на траву" (Втор 32:2 – Maur. Ep. 66.7–9). Письмо озаряет автора, будто луч, и вызывает желание увидеть само светило (Maur. Ep. 46). Пятое письмо, наиболее пространное, из этого ряда заметно выделяется, рассмотрим его подробнее. Сперва автор уподобляет полученное письмо соловью и ласточке – традиционное сравнение, не столь, впрочем, распространенное в X в., но восходящее к ранневизантийскому времени. Однако это этикетное сравнение не остается в пределах одной фразы, а развивается и получает неожиданную конкретизацию. На соловья письмо походит голосом – оно поет красиво и сладостно, – а на ласточку наружностью, ибо смешано из двух цветов: на белом листе выделяется черный узор букв[22]. Похвала красноречия продолжается и дальше. Говорится о песни Сирен, о чарах, о сочетании звуков – послание будто бы написано "для мусического состязания" (Maur. Ep. 1.21–30). Таким образом, письмо в данном случае ценно не потому, что оно являет образ души или добродетели, а потому, что оно само по себе красиво – услаждает и слух, и взор.

Письмо Мавропода нельзя назвать новаторским, с подобными примерами мы в X в. уже встречались, словесное убранство письма не всегда оставалось незамеченным. Однако в XI в. такие примеры уже не исключения – в этом нас убеждает творчество ученика Мавропода Михаила Пселла. Вообще Пселл охотно рассуждает об эпистолярном стиле и даже наставляет своих корреспондентов, как следует писать письма. Когда Пселл оценивает полученное послание, он почти всегда обращает внимание на его стиль. Его комплименты уже не абстрактны и лаконичны, как у авторов X в.: писатель не ограничивается "сиренами", "лотосом" и "харитами", но конкретизирует

[22] Ioannis Mauropodis Euchaitorum metropolitae epistulae / Ed. A. Karpozilos. Thessalonicae, 1990. Ep. 1.2–12. (Далее: Maur.)

похвалу – регулярно вводит риторическую терминологию, почерпнутую из трудов Дионисия и Гермогена. Эти термины изредка появлялись и в письмах X в., но "арсенал" Пселла заметно разнообразнее: так, например, он оценивает в письме смысл (νοῦς), мысли, умозаключения (ἔννοιαι, νοήματα, ἐνθυμήματα), слова (λέξεις), сочетание слов и слогов (συνθήκη λέξεων, συλλαβῶν) – и во всех этих μέρη τοῦ λόγου отмечает красоту (κάλλος) и сладость (γλυκύτης)[23]. Следует также отметить, что Пселл отчетливо дифференцирует красоту "словесную" и "умственную": письмо может быть совершенно в "мыслях", но лишено словесных украшений. Например, письмо некоего "духовного отца" "не затопляет словами, но услаждает энтимемами" (K.D. 312.16–17). В другом случае Пселл с иронией замечает, что письма корреспондента (видимо, темные и косноязычные) искуснее Сивиллиных предсказаний, "их смысл им не уступает, а словесная красота нам, философам, не по душе" (K.D. 185.2–4).

Внимание Пселла не всегда сосредоточено на совершенстве мысли и стиля, полученное письмо нередко трактуется им согласно традиции как "образ души" и мнимая беседа. Однако и эти тривиальные мотивы писатель раскрывает порой совсем необычно. Так, к неизвестному адресату Пселл обращается с такими словами: "Тебе казалось ... что ты в своем письме всего лишь обратился ко мне с дружеским приветствием, а нам показалось, что мы – посредством словесного образа (διὰ τῆς ἐν τοῖς λόγοις εἰκόνος) – восприняли тебя самого... созерцая тебя, будто прототип. Ведь разве ты не знаешь, что я искушен в философии и все исследуется мною возводительно?" (Sath. P. 259.7–12). Итак, Пселл вводит этикетный мотив – эпистолярный "образ" позволяет созерцать "прототип", – но расставляет акценты по-новому: он подчеркивает не то, что автор письма явил в нем свой образ (он и написал-то всего лишь ψιλὰς συλλαβάς), а то, что сам он, философ, сумел этот образ разглядеть; Пселл так "переворачивает" традиционный мотив, что laus epistulae acceptae превращается в характерную для него laus sui ipsius.

Еще один пример обновления "стершегося" сравнения – письмо Пселла к Параспондилу. Полученное письмо было, по словам Пселла, прекрасно, но кратко. Убеждая адресата писать пространнее, эпистолограф пользуется таким доводом: "О луге нельзя судить по одному растению, а о цветущей красоте – по одной части тела. Так последуй естественным законам и пополни потоки речи... Ты скупишься и не раскрываешь мне красоту души, но показываешь мне то брови, то глаза, то еще какую-нибудь часть, и всем этим только распаляешь страсть и обижаешь любовника, безумно влюбленного в твою душу" (K.D. P. 116.6–15). Пселл и здесь прибегает к традиционному мотиву "письмо как изображение души", но переосмысливает его, распространяет и конкретизирует. Поэтому и сравнение получается отнюдь не тривиальное: написать чересчур кратко значит явить не всю душу, а лишь ее частицу – это все равно что показать не все лицо, а только глаз или бровь. Этикетное сравнение подновляется здесь так же, как метафора "письмо – ласточка" в рассмотренном выше послании Иоанна Мавропода.

---

[23] *Sathas K.N.* Bibliotheca Graeca Medii Aevi. Vol. 5. P., 1876. P. 109.6–22. (Далее: Sath.); Michaelis Pselli scripta minora magnam partem adhuc inedita / Ed. E. Kurtz, F. Drexl. Vol. II. Milano, 1941. P. 2.1–7; 4.22–5.1; 5.7–8, 15–17; 53.15–16; 312.15–17. (Далее: K.D.)

Однако подлинным новатором Пселл оказывается в других письмах. Вот, например, как строится laus epistulae acceptae в письме Пселла к куратору Кипра. Начинается оно фразой, совершенно обычной для его предшественников: "Я получил твое письмо и воспринял его как живую беседу". Но продолжение отнюдь не тривиально: "Ведь оно было незатейливо (οὐ κεκομψευμένη) и украшено не чуждой красотой, но естественной и неподдельной" (K.D. 185.6–8). Далее, проводя традиционное сравнение письма и написанного красками образа, эпистолограф варьирует ту же мысль: образ души "сочетался не из красок, а из неподдельных мыслей и чистейшей формы речи" (K.D. 185.14–16) . Таким образом, автор хвалит корреспондента за то, что он написал просто и естественно, не приукрашивая свой слог, это и позволило Пселлу увидеть образ друга. Та же мысль появляется и в других письмах Пселла[24], но предельно ясно она сформулирована в послании к Иоанну Мавроподу, где эпистолограф рассуждает о своем собственном письме. Обычай писать письма прекрасен, думает Пселл, потому что он приводит к неизреченному единению тел и душ. Жаль только, что эта беседа не простая и безыскусная, что она отдаляется от просторечия, не подражает природной и бесхитростной речи. Фигуры, периоды, "закругленные" энтимемы – все это вредит правдивой речи; "нарочитая слаженность частей слова и погоня за отточенными словами – изобретения против неподдельной, искренней дружбы" (K.D. P. 75.14–76.2). Итак, красноречие – преграда для дружбы, искусственность риторического декора мешает разглядеть чистый образ души. В чем истоки этой позиции, и насколько она оригинальна?

Представление о том, что письмо следует писать без прикрас, восходит к поздней античности. Согласно Филострату, эпистолярный стиль должен быть более аттическим, нежели простая речь, но и более простым, нежели аттическая. Эту же мысль развивает Псевдо-Ливаний: "...аттицизм [должен быть] умеренным, не следует сверх подобающего прибегать к украшениям. Ведь излишне высокопарный [слог] (ὑψηγορία), напыщенность и чрезмерный аттицизм – это чуждо стилю письма"[25]. О том же пишет Григорий Назианзин в послании к Никовулу: письмо не должно быть вовсе небрежным и неукрашенным, но злоупотреблять тропами тоже не следует – красота письма должна быть естественной, как красота орла, который не стремится казаться красивым[26].

Итак, античная эпистолярная теория велит держаться середины между просторечием и чрезмерной напыщенностью. Для авторов эпохи "Македонского ренессанса" этот мотив чужд. В тех немногих случаях, когда речь заходит об эпистолярном стиле, обилие фигур, как мы видели, отнюдь не трактуется как изъян. Еще один показательный пример – письмо Филета Синадина. "Пиши, – просит эпистолограф, – не с высоты (μὴ ἀπὸ ὕψους), а то, что я смогу понять, ибо я обратился в варвара среди неразумных киликийцев. Если же ты обрушишь на меня поток слов, то с первого же приступа поразишь и ...из смелого сделаешь робким" (Darr. VI. 7.6–10). Так, ὑψηγορία следует в пись-

[24] K.D. P. 8.18–19; 31.25–32.20; 117.16–28; 173.16–18; 310.3–6.

[25] Characteres epistolici // Libanii opera / Rec. R. Foerster. Lipsiae, 1920. Vol. IX (Bibliotheca Teubneriana). P. 46.5–47.3.

[26] *Gregor von Nazianz*. Briefe / Rec. P. Gallay. B., 1969. P. 47.23–48.12.

ме избегать, но только потому, что "ничтожный" адресат не поймет "возвышенной" речи и оробеет. Михаил Пселл возвращается к античной позиции, но несколько ее видоизменяет: советуя отказаться от риторических красот, писатель отнюдь не предостерегает от другой крайности, а напротив, парадоксально для византийца призывает подражать повседневной речи – лишь бы в письме был запечатлен образ души. Впрочем, от того, чтобы воплощать этот принцип на деле, эпистолограф бесконечно далек.

Столь же необычна мысль Пселла о том, что риторические украшения в письме – преграда для истинной дружбы. В позднеантичных теоретических руководствах по эпистолярному искусству эта позиция expressis verbis не сформулирована, а для византийских авторов IX–X вв. оказывается и вовсе чуждой – "мед" и "хариты" уж точно не мешали им видеть в полученном послании "образ души" друга. Вот что пишет, например, Симеон Логофет: "Так и следовало, чтобы ты, наделенный такой душой и столь всеми любимый, в той же мере наделен был и красноречием, дабы, разлучаясь с друзьями, ты не доставлял им огорчения, а с помощью писем даровал друзьям себя, будто ты с ними" (Darr. II. 85.5–7). Никакого противоречия между красотой стиля и единением душ Симеон не видел, корреспонденту Симеона красноречие, напротив, поможет явить друзьям свой образ. Пселл осмысляет этикетный мотив "письмо – образ души" совершенно по-своему.

Итак, призыв Пселла к простоте эпистолярного стиля выводится из позднеантичных теоретических трактатов, но совершенно чужд его ближайшим предшественникам. Поэтому комплимент куратору Кипра, сделанный исходя из этой позиции, звучит так необычно.

Еще одна особенность laus epistulae acceptae у Пселла – подробные описания эмоций. Вот, например, как в одном из посланий передается реакция на полученное письмо. Когда Пселл развернул и прочитал письмо, то с ним произошло нечто "невероятное": "От безмерной радости и удовольствия я потерял рассудок и, утратив дар речи, еще немного и упал бы на землю, если бы кто-то не привел меня в себя и не вывел из этого состояния. Так я узнал, что не только горе и слезы поражают и оглушают, будто громом, но также и удовольствие и смех, когда овладевают стремительно, потрясают и поражают" (K.D. 4.15–21). Итак, эпистолограф подробно описывает свои чувства, а затем даже анализирует их и делает выводы. Тот же вкус к описанию эмоций проявляется в уже упоминавшемся послании к куратору Кипра. "Читая письмо, – пишет автор, – я то смеялся, то становился серьезен, то делался радостней, то восхищался величием твоей души – [испытывал то], что обычно испытываю, когда слышу, как ты говоришь" (K.D. 185.8–12). По-новому, развивая старый мотив "письмо – беседа", писатель психологически убедительно передает оттенки изменчивого настроения.

Оба примера совершенно не типичны для предшественников Пселла. Эпистолографы IX–X вв., как правило, ограничивались предельно абстрактными выражениями: письмо "радовало", "утешало", "печалило" и т.д. Впрочем, Симеон Логофет тоже пространно описывал процесс чтения письма (Darr. II. Ep. 89, см. выше): он наслаждался каждым слогом, будто глотком драгоценного вина, но это описание было абстрактно-риторическим, оно было построено на этикетной метафоре "письмо – чаша с вином". "Психологизм", повышенное внимание к эмоциям, детальные характеристики челове-

ческого нрава – все это в высшей степени характерно для творческой манеры писателя[27].

В обоих приведенных примерах следует отметить еще одно новшество. Пселл потерял рассудок и чуть не упал на землю, потому что им "стремительно овладел" смех, эпистолограф хвалит письмо за то, что оно смешное. Письмо куратора тоже вызвало смех, а не только радость и восхищение. В X в. письмо такого эффекта не производило, оно могло утешать, услаждать, очаровывать, но никак не смешить. То, что это новшество появляется у Пселла, не случайно. Именно в XI в. дружеский юмор становится неотъемлемой частью эпистолярной игры. Неудивительно, что письмо начинают хвалить за то, что оно вызвало смех. Сама похвала тоже перестает быть торжественно риторической и облекается порой в форму шутки. На письмо Иоанна Мавропода, в котором тот жаловался на тяготы изгнания, Пселл отвечает так: "Хотел бы я, чтоб ты всегда терпел такие муки, как Тифон в мифе, дабы ты, теснимый этим бременем, мог всегда озарять нас светом таких слов и мыслей. Я ведь сравниваю твое несчастье со счастьем и нахожу, что в несчастье твои речи свободней и пространней. Муки-то Тифоновы, а молнии – тучегонителя Зевса" (K.D. 53.13–21). Подобный комплимент в форме насмешки, которого трудно было бы ожидать от автора X в., в XI столетии становится нормой.

Итак, в ситуации laus epistulae acceptae Пселл, бесспорно, проявляет себя как новатор. Однако об эпистолярном этикете его времени нам судить трудно, ведь от середины XI в. до нас дошли только два больших эпистолярных собрания – Пселла и Мавропода. Оба эти автора – несомненно литературный авангард той эпохи. Были ли их современники консервативнее? Ведь письма Пселла по стилю весьма разнообразны: некоторые, особенно адресованные к его "ученым" друзьям и покровителям, поражают своей новизной, а иные, напротив, насквозь тривиальны. Это естественно, иные корреспонденты его литературные опыты просто бы не оценили, и писатель неизбежно должен был играть по их правилам. Так или иначе, мы не в силах определить, в каких случаях Мавропод и Пселл следовали тогдашней литературной норме, а в каких эту норму "преодолевали".

Что же происходит дальше? В конце XI – начале XII в. floruit только один известный нам эпистолограф, ученик Пселла Феофилакт Охридский. Как он поступает в интересующей нас ситуации? Письмо друга доставляет эпистолографу утешение[28], ободряет его наставлением (Theoph. Ep. 16.8; 54.13), оно как живительная влага и источник для жаждущего (Ep. 30.8; 75.5–6; 77.3–4), лекарство от горестей (Ep. 75.5). Послание трактуется как образ ума (εἰκὼν τοῦ νοῦ – Ep. 16.2), читая его, Феофилакт целует друга устами любви, будто он перед ним, он беседует с ним устами писем (Ep. 77.5–7, 14–15). Таким образом, в ситуации laus epistulae acceptae Феофилакт оказывается неизменно консервативен. Оценивая письмо, он "не обращает внимания" на красоту стиля, а ограничивается мотивами, привычными для IX–X вв. Как эпистолограф Феофилакт последовательно избегает всех новых тенденций,

---

[27] Об этом см.: *Любарский Я.Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество (К истории византийского предгуманизма) // Две книги о Михаиле Пселле. СПб., 2001.

[28] Theophylacti Achridensis epistulae / Rec. P. Gautier. Thessalonicae, 1986. Ep. 75.6–7; 77.15–16. (Далее: Theoph.)

помимо других случаев, это особенно заметно в его трактовке подарков. Это позволяет предположить, что по крайней мере в сфере эпистолярного жанра Феофилакт – на уровне этикетных мотивов – спорит со своим учителем.

Какой же путь избирают последующие эпистолографы? Продолжают ли они новые тенденции, намеченные в письмах Мавропода и Пселла, или вслед за Феофилактом Охридским возвращаются к эпистолярному канону "Македонского ренессанса"? Здесь в распоряжении исследователя вновь оказывается обширный материал. Эпистолярных собраний середины – конца XII в. сохранилось немало, и интересующую нас тему авторы затрагивают часто: к примеру, Феодор Продром в 4 письмах, Иоанн Цец в 4 письмах, Георгий Торник в 2 письмах, Евстафий Солунский в 6 письмах, Евфимий Малаки в 2 письмах, Михаил Хониат в 28 письмах[29]. Таким образом, у нас вновь есть возможность проследить, как, в соответствии с этикетом той эпохи, было принято выражать радость о полученном письме.

Авторы Комниновской эпохи не чужды новых тенденций. То, что сразу бросается в глаза – их интерес к вопросам стиля и риторики: отзываясь о полученном послании, эпистолографы отмечают прежде всего достоинства его стиля. Показательным примером могут послужить письма Иоанна Цеца. Laus epistulae acceptae посвящены четыре его пространных послания, и во всех четырех похвала концентрируется на словесном изяществе. Так, одно из писем Цеца обращено к Мануилу Гавриилакиту, жившему тогда в Фессалии. С первых же строк Цец выражает удивление: он полагал, что, живя среди варваров, его друг сам стал варваром, но вот он пишет ему письмо "слаще аттического меда". Цецу казалось, что история о Музах – вымысел древних поэтов, но вот Мануил показал, что на Геликоне (ведь он живет там неподалеку) и вправду обитают Музы, они-то, видимо, и наставляют его в словесном искусстве. Или, гадает "изумленный" Цец, Орфей ожил и обучил его согласовывать ритм слова с ритмом кифары? Или Хирон еще жив и воспитывает Мануила? "Впрочем, – замечает эпистолограф, – я начинаю подозревать, как бы Хирон не приучил тебя также скакать верхом, и не вернулся бы ты из Фессалии не любезным мне Мануилом, а новым лапифом или кентавром" (Tz. P. 21.9–22.10). Итак, письмо оценивается исключительно как образец красноречия: о том, чтобы оно стало для Цеца "утешением", явило бы ему "образ души" друга или пролилось "маслом" на его "пылающую" душу, обо всем этом не говорится ни слова. Торжественность похвалы под конец снижена шуткой – Мануил может превратиться в кентавра. Вслед за Мавроподом и Пселлом авторы XII в. насыщают свои письма дружеским юмором.

Оценивая полученное письмо, авторы середины – конца XII в. вслед за Пселлом четко противопоставляют красоту "умственную" и "словесную".

---

[29] *Michel Italikos*. Lettres et discours / Ed. P. Gautier. P., 1972. Ep. 17. (Далее: Ital.); PG. T. 133. P. 1239–1292. Ep. 3, 6, 14, 15. (Далее: Prodr.); Ioannis Tzetzae epistulae / Rec. P.A.M. Leone. Leipzig, 1972. Ep. 13, 19, 76, 77. (Далее: Tz.); *Georges* et *Dèmètrios Tornikès*. Lettres et discours / Ed. J. Darrouzès. P., 1970. Ep. 5, 12. (Далее: Torn.); Eustathii Thessalonicensis Opuscula / Ed. T.L.F. Tafel. Frankfurt, 1832. Ep. 10, 12, 32, 35, 41, 45; Εὐθυμίου τοῦ Μαλάκη μητροπολίτου Νεῶν Πατρῶν τὰ σωζόμενα / Ed. K.G. Bonis. Athenae, 1937. Ep. 1, 3. (Далее: Mal.); Μιχαὴλ Ἀκομινάτου τοῦ Χωνιάτου τὰ σωζόμενα / Ἐκδ. Σπ. Λάμπρος. Bd. 2. Athenae, 1880 (Groningen, 1968). Ep. 3, 6, 8, 28, 42, 52, 70, 84, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 106, 107, 117, 118, 134, 144, 147, 150, 152, 158, 169. (Далее: Chon.)

Эта антитеза наиболее отчетлива в эпистолярных комплиментах Михаила Хониата. Так, например, он сравнивает полученное письмо с чашей, воспетой Пиндаром (Olymp. 7.1–10: цитируется в пер. М.Л. Гаспарова): подобно тому, как чаша была из "чистого золота", а внутри "кипела виноградной росою", так и письмо "снаружи сияло золотым блеском слов, а изнутри у него кипел сладостный плод ума, будто нектар Муз, неизреченной влагой окроплявший сердце" (Chon. P. 314.17–24). В нескольких других письмах Хониата этот дуализм подчеркивается парономасией νοήματα–ὀνόματα ("мысли" – "слова"). Так, в одном из писем он находит "красоту мыслей и изящество имен" (Chon. P. 187. 12–13). О другом послании он пишет: "[Нас] чарует стройность мыслей и красота слов, завораживает гармония обоих [качеств]" (Chon. P. 243.1–2)[30]. Еще одно письмо "философствовало и веяло риторическими харитами" (Chon. P. 45.9–10). Это же противопоставление проводят и другие эпистолографы комниновского времени. Феодор Продром восхищается письмом, которое "возвышенным созерцанием… ум окрыляет" и "аттическими словами расцветает" – симметрия подчеркивается гомеотелевтами: μετεωρίζεται – περιανθίζεται (Prodr. P. 1248.9–11). Евфимий Малаки отмечает, что письмо "исполнено [словесных] харит" и являет "зерцало мудрости", ему кажется, что Платон и Демосфен ожили (Mal. P. 38.5–11). Таким образом, в XII в. было особенно важно подчеркнуть, что автор письма проявил себя и как философ, и как оратор.

Итак, письмо должно обладать "умственной" и "словесной" красотой, однако особое внимание уделяется риторическому оформлению, изяществу слога. Если письмо красноречиво, то оно доставляет радость и утешение, даже если приносит дурные вести. Так, восхищаясь красноречием афинского митрополита, Георгий Торник признается: "Плач, которым ты оплакал Афины, принес нам наслаждение" (Torn. P. 113.2–3). Подобное же признание звучит в устах Михаила Хониата: "Пусть даже письмо трагически повествовало о нашем биче и скорбная речь вызывала слезы, но та же [речь] очаровывала изяществом… и красноречием (κομψῷ καὶ καλλιῤῥήμονι)" (Chon. P. 147.22–25). Более отчетливо та же мысль выражена в другом послании афинского митрополита. "Прочтя письмо, я вкусил великое утешение, – пишет Хониат, – конечно, письмо было с привкусом горечи и трагической повестью… растравляло раны, но словесное изящество своим очарованием смягчало удары (ἀντιγοητεύουσα τὸ ἐπιξαῖνον) и притупляло боль" (Chon. P. 241.15–18)[31]. Еще один, пожалуй, наиболее показательный пример – одно из писем Михаила Италика. Получив по случаю смерти друга утешительное письмо, ритор отзывался о нем так: "Письмо всячески отвлекало меня от несчастья, приводило в лучшее расположение – с одной стороны, эпихиремами и энтимемами, с другой – сочетанием (συνθήκῃ), ритмами и красотой слов (τῷ κάλλει τῶν λέξεων)" (Ital. P. 89.3–90.1). Утешительное послание было ἐπανακτωμένη πρὸς τὸ εὐθυμότερον ("приводило в лучшее расположение"), эта формула была распространена еще в IX–X вв.[32], но в письме Италика она раскрывается отнюдь не тривиально: та мысль, что письмо может утешить

[30] См. также: Chon. P. 153.4–5.
[31] У Хониата см. также: Chon. P. 45.9–10; 273. 23–274.6.
[32] Darr. II. Ep. 16.6; VII. Ep. 37.2; VIII. Ep. 4.3; IX. Ep. 19.2.

риторическими изысками, для предшествующей византийской эпистолографии совершенно чужда. Итак, в эпоху господства риторики письмо "утешает" не в последнюю очередь именно красноречием.

Таким образом, авторы середины – конца XII в. прежде всего проявляют интерес к словесному оформлению письма. Мотив "письмо как образ души", столь распространенный в IX–XI вв., напротив, почти исчезает. Иногда он, конечно, появляется, но в другой ситуации, когда эпистолограф объясняет, почему он сам взялся за перо. Так, Михаил Хониат нередко пишет, что он всей душой желает видеть адресата, но, поскольку это невозможно, то пишет письма, "измышляя себе утешение" с помощью "образов"[33]. Хониат употребляет необычное для писем X–XI вв. слово ἐνδάλματα. Когда же требуется похвалить полученное послание, об этом "вспоминают" уже редко. Среди множества писем этого периода, посвященных нашей теме, мы обнаружили лишь одно, в котором этот мотив раскрывается. Михаил Хониат утешился, увидев простой правдолюбивый нрав друга, запечатленный в письме, как на картине, ему казалось (ἐδόκουν), что корреспондент находится рядом и ведет с ним беседу (Chon. P. 114.19–115.1). Есть, впрочем, и еще один пример, но традиционный мотив предстает там не в самой привычной форме. Феодор Продром жалуется, что письмо не было написано "святой рукой" его автора, и поэтому он не может созерцать душу друга в письмах, будто в зерцале (Prodr. P. 1258.6–10).

Мы убедились, что авторы середины – конца XII в. развивают новые тенденции, заложенные в XI столетии. Однако следует отметить, что, преклоняясь перед Михаилом Пселлом, писатели комниновской эпохи подражают ему не во всем. Так, например, им совершенно чужда мысль Пселла о простоте и безыскусности эпистолярного стиля. Риторическая "отточенность" языка, напротив, трактуется как основное достоинство письма – послание должно "цвести аттическими словами", а его автору подобает подражать Демосфену. Как мы видели, авторы этого времени и не пытаются разглядеть в послании "образ души" – зачем же им отказываться от столь милых им риторических украшений?

Подведем итоги. Сравнение посланий, составленных в разные эпохи, но в одной ситуации (laus epistulae acceptae), приводит к интересным выводам. Выясняется, что на протяжении трех столетий формы эпистолярного комплимента заметно изменились: оценивая полученное письмо, эпистолограф XII в. видит в нем совсем не те достоинства, какие видел его предшественник в эпоху "Македонского ренессанса". Те правила игры, которые существовали в X в. и были описаны Г. Карлссоном, в комниновскую эпоху уже не действуют.

В X в. полученное послание оценивается главным образом, как "изображение" души и ее добродетелей. Оно утешительно, ибо создает иллюзию присутствия желанного друга. То, каким стилем это письмо написано, отмечается в последнюю очередь и, как правило, мимоходом. К середине XI в. предпочтения меняются: намного больше внимания уделяется достоинствам самого письма – его "умственной" и "словесной" красоте. Михаил Пселл

[33] Chon. Ep. 14, 26, 59; см. также Ep. 56, 104, где эпистолограф "угадывает" чувства корреспондента..

отходит от традиции особенно явно – совсем непривычно звучат те его послания, в которых он детально описывает свои эмоции или хвалит письмо за *простоту и естественность его стиля. Письмо должно писать без прикрас*, чуть ли не разговорным языком, ибо красноречие есть препятствие для искренней дружбы – эта мысль Пселла, лишь косвенно восходящая к античной риторической теории, для его предшественников совершенно чужда. Эпистолографы середины – конца XII в. развивают тенденции, заложенные в XI столетии: они концентрируют внимание на стиле полученного послания и трактуют его как произведение риторического искусства, но особенное внимание уделяется словесному "оформлению" письма. Мотив "письмо – образ души", напротив, теряет актуальность и почти исчезает. Мысль Пселла о естественной простоте эпистолярного стиля тоже не находит отклика в эту эпоху – письмо должно быть образцом "аттического" красноречия.